

Алена Баикина. Память сильнее времени: Каунасский еврейский детский дом в Шиморском

Впервые о Каунасском еврейском детском доме я услышала от Нины Сергеевны Смахтиной, ветерана войны, жительницы поселка Шиморское.

Вспоминая о страшных и голодных годах, она рассказывала:

- Папу на фронт забрали в 42 году, и он велел мне оставаться с мамой. «Война закончится, приеду, тогда и пойдешь учиться» - сказал он. Я осталась. А голодно — ужас! Питались тем, что на огороде росло, да корова была. Главная кормилица, ей очень дорожили. Тогда мне Леля Кедрина (Артамонова по мужу) предложила свое место: она работала в детском доме, эвакуированном из Каунаса. «Я ухожу, ты, может, меня заменишь?» В детском доме на обед давали тарелку супа, кусочек хлеба и чай несладкий. За этот суп я и пошла работать счетоводом.

Работать мне нравилось. Но однажды меня вызвали в органы, как тогда говорили, и начали допрашивать: как ведет себя директор детского дома. Директором был Иуда Наумович Месье, 28 лет, еврей из Каунаса. Он окончил промышленную академию, знал 10 языков, побывал во многих странах как журналист, обладал изумительной памятью. И при этом у него было очень слабое зрение — он читал через две пары очков. Иуда Наумович был замечательным человеком. Я отправляла его письма в Палестину, куда уехали его родственники, а он мне рассказывал, что скоро там образуется государство Израиль. Дети его очень любили. В детском доме были дети разных национальностей: евреи, литовцы, поляки - вся Прибалтика. Мне запомнился шестиклассник Ян Грошутис. Он рассказывал, что его отец был директором банка, я, говорил, все знаю там, как деньги хранят, как банк работает. Но мне он запомнился не этим, а тем, что знал шесть языков, на русском писал скетчи по поводу Гитлера, а дети все это разыгрывали. Я его спрашивала: «А как ты пишешь: на русском-то языке?» Он отвечал: «Теть Нин, где живешь, на том языке и думаешь. Я живу в России и думаю по-русски». Иуда Наумович читал детям «Маугли» на английском языке, и тут же переводил на все языки, какие тут дети есть...

Ну вот, меня выспрашивали о нем, вопросы всякие задавали... А я ничего плохого о нем не сказала, я его уважала, восторгалась им буквально. Меня отпустили, а через три дня я получила повестку в армию. Мне было 18 лет, комсомолка — ну как же я не пойду....

Так началась военная служба связистки Нины Ключаревой (по мужу — Смахтиной). А мы останемся в речном поселке, куда прочь от бомбежек эвакуирован был еврейский детский дом.

Свидетельства о нем мы находим в двух источниках. Шалом Спивак (Израиль), кандидат технических наук, в 2007 году опубликовал в сетевом альманахе «Еврейская старина» статью «Мои первые годы». Перед вами фрагмент этого повествования, непосредственно относящийся к Выксе и Шиморскому.

«Мы приближались к месту нашего назначения – к городу Выкса в Горьковской области. Еще во времена Петра Первого здесь был заложен сталелитейный завод, вслед за которым развился и город Выкса. Здесь отливалась высокопробная сталь для речных пароходов и барж. А в селе Шиморское Выксунского района, на реке Ока находился затон – место стоянки и ремонта речных пароходов и барж. Это село Шиморское и приютило нас, беженцев из Литвы.

* * *

Был разгар лета, и нас направили сначала в пионерский лагерь Выксы, с тем, чтобы подобрать нам жилое помещение. После перенесенной дороги мы попали прямо в рай. Здесь мы утром строились в линейки, отдавали рапорта сначала на идиш, а потом, постепенно, по-русски. Днем играли в разные игры. А, главное, нас очень хорошо кормили. Ели досыта, как будто и войны нет. Этот месяц в пионерском лагере мы вспоминали все годы войны: – Помнишь, – говорили мы друг другу, – этот белый хлеб и масло, и сладкий чай?!

В Шиморском нас поселили в здание бывшей начальной школы. Это было двухэтажное здание. Толстые деревянные балки здания чередовались слоями спрессованного войлока. Почти весь первый этаж занимала одна большая комната, которая служила нам и столовой и комнатой досуга. В ней мы проводили большую часть дня. Небольшую, примыкающую к ней комнату, оборудовали под кухню. Кухню и столовую соединяло окно для передачи пищи. На 2-м этаже находились 2 наши спальные комнаты, а над ними – чердак. Были и небольшие комнаты для персонала.

Дом наш стоял на отшибе, одиноко, вдали от улиц села. С одной стороны его тропинка спускалась к реке, с другой простиралось обширное, пустынное поле с высокой деревянной вышкой в центре его. Эта вышка должна была, по-видимому, служить наблюдательным пунктом. Может быть, отсюда наблюдали за пожарами? Во время войны ей нашли другое применение. Здесь, на этом поле, обучали солдат перед отправкой их на фронт. Командиры наблюдали с вышки за полем боя. После таких учений поле долго пахло порохом, всюду валялись гильзы, а мы приходили искать тут патроны, которых тоже было немало.

* * *

Наш приезд вызвал очень большой интерес у Шиморских пацанов. Чем увлечь себя в этом далеком, заброшенном селе, где не было театра и вряд ли было кино? Увлечением 10-и–16-и летних пацанов были драки. Они были разбиты на группки, шайки. В каждой шайке – свой атаман. И эти шайки вели постоянные, отчаянные драки друг с другом. Одного из атаманов звали «красный глаз», он постоянно ходил с подбитым глазом. Можно себе представить какой аттракцией было для этих пацанов появление в их селе еврейских детей из Литвы! Я думаю, появившись сегодня в Бней Браке Машиах (Мессия), это не вызовет такого восторга у местных жителей, какой вызвало у Шиморских пацанов наше появление в их селе. И мы скоро почувствовали этот восторг. Встречает меня как-то пацан и спрашивает: «как тебя зовут»? Я уже понимал это по-русски и отвечаю чистосердечно: «Шолем». Восторгу его не было конца. Он просил меня повторять, повторял за мной, меня ударе, хохотал и, на всякий случай, награждал меня звонкой затрешиной по щеке. Должен сказать, что я до семилетнего возраста не только не дрался сам, но и не видел, чтобы другие дрались.

Мы старались избегать встречи с пацанами, убежать от них, а это не всегда удавалось.

Однажды настагает меня пацан и спрашивает:

Кто ты такой?

– Литовеч, – отвечаю я виновато, вжимая голову поглубже в плечи.

– Скажи «кукуруза», – приказывает пацан.

– Кукуруза, – произношу я, картавя.

– Ах ты, жидовская морда!

И опять я получаю удар кулаком по голове.

Удивительно, что знают они о евреях? Ступала ли тут вообще когда-либо нога еврея? Мне кажется это столь же маловероятным как посещение этого села фулани из Гвинеи. Впоследствии мы тоже научились драться. Мы дрались и с ними и между собой. Но на первых порах нас защищали наши старшие ребята. Было среди нас несколько юношей лет 16-ти. Хацкель Блюменталь был скромный добрый парень, всегда готовый помочь. У него была травма спины, и правая рука ограничена в движении. Среди взрослых был Шимон Млодзинский, сын нашей кухарки Фрейдл и еще двое, которых мы называли по их фамилиям: Герман и Гарон. Трое последних были впоследствии призваны в армию и ушли на фронт, откуда Гарон, увы, не вернулся. Вот эти старшие ребята защищали нас от шиморских пацанов. Однажды они поймали «красный глаз» и привели его к нам домой, в кабинет директора. Мы все сбежались смотреть на атамана в неволе. И тут при нас, уловив подходящий момент, он стремительно рванулся к окну, резко и сильно ударил локтем по стеклу, так что стекло брызгами разлетелось во все стороны; он сел на частично освобожденную раму и выкатился наружу спиной вперед, нисколько не беспокоясь тем (так нам казалось) как ему впоследствии удастся приземлиться. Мы стояли ошеломленные. Никто не решился помешать ему, схватить его. Несколько мгновений спустя, освободившись от шока, мы бросились к окну: "красный глаз", ковыляя, поглаживая голову и проверяя ладонь (не окровавлена ли она) удалялся восвояси. Это был первый этаж, но кто мог ожидать такой прыти? Да, отчаянные это были ребята, шиморские пацаны!

* * *

Надвигалась зима, суровая зима 41-го года. У нас не было теплой одежды. Мы приехали в летнем: легкие ботинки да обветшалые штанишки и рубашки. В воздухе опять стали появляться немецкие самолеты. Это были не бомбардировщики, они летали высоко. Фронт приближался. Наш директор Иуда Месье поплыл на пароходе в Горький решать с властями, что делать с нами. Может быть, нам следует эвакуироваться дальше, куда-нибудь в Ташкент? Приплывая в Горький, он попал под сильную бомбардировку. Пароход причалил к разбитой пристани. Иуда добрался до очень высокого начальника. Это был то ли Булганин, то ли Сулов. Этот начальник объяснил ему, что нет никакой возможности эвакуировать нас в Ташкент. Нет ни транспортных средств, ни возможности устроиться там, в Ташкенте, где все и так переполнено.

– Но как же мы будем зимовать здесь? У нас нет даже теплой одежды!

– А, это уже другой вопрос, тут мы сможем вам помочь.

И он распорядился по телефону. Иуда привез нам шубки, шапки, валенки, теплое белье и даже лыжи.

* * *

Все наши помыслы и мечты в годы войны были о еде. Мы постоянно были голодны. Из нашего рациона были начисто исключены мясо, масло, жиры, сахар, сладости, яйца. Да и кто ел тогда эти продукты? Нас все же кормили регулярно 3 раза в день. На завтрак давали кусочек хлеба и несладкий чай из шиповника, на обед – кусочек хлеба, суп с крупой и, возможно, немного картофеля, на ужин – пшеничную или перловую кашу. Хлеб взвешивался каждому согласно норме. А норма постепенно сокращалась: вначале мы получали 500 грамм хлеба в день, затем – 400 и, наконец, 300.

В столовой каждый имел свое постоянное место. За четверть часа до обеда мы все начинали собираться у двери столовой, заполняя и лестницу. Первым у двери всегда был Тедик Маркус. Своим единственным, левым глазом он смотрел сквозь специально просверленную дырку за тем, как повариха и ее помощница распределяют порции по нашим местам. В

правом глазу у Тедика был стеклянный протез, он то вынимал его и клал в стакан с водой, то вставлял обратно в отверстие глаза. Левым глазом он отлично различал наши порции. Он хорошо знал и расположение наших мест и докладывал нам по мере их заполнения:

– Лейбке, у тебя горбушка, Хаим, у тебя довесок, Шодем, у тебя серединка.

Горбушка считалась лучше всего: корочку можно есть очень медленно. Есть и другой вариант: можно съесть сначала мякоть с жидкостью супа и затем оставшуюся гущу (крупы, картофель) вложить в корочку. Получается блюдо, которое мы называли лепешкой. Довесок ценился на втором месте: все-таки два куса, а не один. Хуже всего – это серединка, хотя и тут я однажды обнаружил новую, очень удивившую меня опцию. Я наблюдал, как ест местная шиморская женщина, работавшая у нас на подсобных работах. Она крошила хлеб в суп. Мне казалось это расточительством – вместо 2-х блюд она ест одно. Однажды я попробовал этот способ. Действительно, получается кисло и сытней. И все же я остался при своем, старом способе – хотелось есть медленней и дольше.

В урочный час открывалась дверь в столовую, и мы занимали свои места. Все кроме Тедика Маркуса. Он, как наблюдатель, выбирал всегда понравившуюся ему порцию и садился на это место. Пострадавший должен был сесть на место Тедика. У него, правда, имелась компенсация: умеряя свою досаду, он мог провести косточкой согнутого пальца по голове Тедика. Тедик принимал это как должное. Такое было неписаное правило.

* * *

Неподалеку от Шиморска, вверх по Оке находится небольшой город Балахна. Здесь формировалась Литовская дивизия, состоявшая в основном из евреев, успевших эвакуироваться из Литвы. Иуда, наш директор или, вернее сказать, наш добрый дед мороз, решил наведаться туда: может, удастся выпросить что-либо для нас. Есть же какое-то родство между Литовской дивизией и детдомом из Литвы! И, действительно, он приплыл с баржей, груженной капустой. Эту капусту сгрузили на чердак, самое теплое место в доме. Теперь обед наш состоял из капусты – суп из капусты на первое, тушеная капуста на второе. Мы это называли Иван Иванович.

– Что сегодня на обед?

– Иван Иванович.

Мы ели Ивана Ивановича целый год. Зимой капуста примерзла, весной стала отмерзать и гнить. Она капала с потолка наших спален. Хочется перефразировать Сашу Черного и сказать: капуста капала слезами с потолка.

Летом бывало легче, нет-нет, да и сорвешь с огорода морковку, свеклу, редьку. Своих огородов у нас, конечно, не было; а чужие охранялись очень тщательно, с собаками. Но голод, как известно, не тетка. Как-то раз пошел я с Колькой воровать с огорода картошку. Война занесла в наш детдом русского мальчишку Кольку. Он быстро освоился, выучил идиш и стал своим. Но, в отличие от нас, он и по-русски говорил хорошо, да и в местных условиях разбирался лучше. Вот мы добрались до желанного куста, копнули несколько картофелин и засунули за пазуху. Появилась женщина и издали кричит нам:

– Чай, козы моей не видели?

При этом она быстро приближается к нам. Здесь, в Горьковской области, говорили протяжно, напевно, окая. Я ничего не подозревал, а Колька сразу смекнул и говорит:

- О, хитрая баба.

И давай бежать. Я – за ним. Картошка из-за пазухи высыпалась. Ни жив, ни мертв, я прибежал домой и тут же лег в постель. В случае чего притворюсь больным. Обошлось. Женщина к нам не пришла.

* * *

Зимой топили печи для обогрева комнат. Но дров не хватало, и в комнатах было прохладно.

Мы укрывались шубками поверх одеял. Истощенные и ослабленные, мы привыкли мочиться в постели. Сначала тепло, потом холодно – жмешься к сухому краю простыни. Все пропахло мочой – постель, белье, шубки. И запах мочи смешивался с запахом капусты, капающей с потолка. И еще привычка, которую мы переняли друг у друга – ложась спать, мы вертели головами из стороны в сторону до тех пор, пока засыпали. Странно это должно выглядеть – лежат 40 детей и вертят головами. Объяснение этой картины надо, по-видимому, искать у психолога.

Мы жили автономно, обособленно от внешнего мира. Мы не ложились в больницу, ни разу не видели врача, медсестру, кого-нибудь из медицинского персонала. Сами заболевали – сами и лечились. Все, наверно, переболели малярией. А малярия в тех местах была очень суровой. Заражались от укуса комаров. Малярию называли еще лихорадкой. Действительно, лихорадит, знобит, все тело охватывает неумная дрожь. И нет никакого лекарства. Укрываешься еще одеялом, еще шубкой – не помогает. Изнываешь под тяжестью покрывал – а дрожь не унять. Дрожат челюсти, не попадает зуб на зуб. Через день, другой дрожь меняется жарой. Все тело в поту, и наступает забвение. Балки на потолке, окна комнаты, люди – все теряет понемногу свои реальные очертания, перестаешь понимать, где ты и что с тобой происходит. Эти чередования приступов холода и жары отнимают последние силы. Говорят, что, переболев малярией, организм вырабатывает иммунитет и вторично малярией не заболевает. Но и одного раза достаточно, чтобы запомнить эту болезнь на всю жизнь. Другой напастью были фурункулы. Это – от малокровия. Они были с нами всегда. Мы лечились ихтиоловой мазью. Залечишь фурункул на руке – новый появляется на шее, залечишь его – выскочит новый на ноге и т.д.

* * *

Школа тоже была у нас своя, доморощенная. Учили все, кто мог: и старшие воспитанники, и те немногие учителя, которых война занесла в наш детдом. Учили понемногу чему-нибудь да как-нибудь. Поначалу обучение происходило в нашей столовой комнате. Помню, как Хацкель Блюменталь обучал меня чтению по букварю. Книги откуда-то раздобыл... ну, конечно же, наш фокусник Иуда Месье. Мы наткнулись с Хацкелем на сочетание слов «белого гуся». Я произношу по слогам: бе-ло-го. Третий слог он поправляет на «во». Тогда я продолжаю: ву-ся. Хацкель опять поправляет «гу». Так мы вращаемся по кругу, и я все не пойму как произнести эту проклятую букву «г».

Мы встречались с Хацкелем и после войны, в Вильнюсе. Он работал полировщиком мебели. Вот какой диалог возник у нас как-то при встрече:

– Ну, Шолемке, кем ты стал?

– Я математик и кандидат технических наук.

– Как странно, а ведь ты был таким тупым.

Был у нас и свой учитель литовского языка. Не знаю уж как, очутился у нас этот литовец с большими руками и большой головой. Он очень любил склонять существительные, и мы постоянно повторяли за ним: Вардининкас кас? Кильмининкас ко? Но не было живой речи. Нас бы заинтересовать простым и интересным рассказом, глядишь, и слова бы запомнились!...

Впоследствии нам выделили под школу однокомнатную избушку. Теперь мы утром выходили в школу, как ходят ученики во всем мире. Мы шли 1,5-2 км вдоль пустынного поля с вышкой по узкой тропинке, проторенной в снегу. Идти надо долго, и я предаюсь своим мечтам. Вот кончится все это, и мы опять заживем нормальной жизнью. Опять Шмерл будет катать меня на велосипеде, и мы будем есть бананы. Своих братьев Нахума и Ицика я совершенно забыл. Я забыл не только их внешний вид, привычки, особенности поведения – я забыл об их существовании. И отца я не вспоминал. Единственный, с кем я связывал мечты о будущем, был мой старший брат Шмерл. Ему я рассказывал свои невзгоды, ему я жаловался, если кто-нибудь обижал меня. Шмерл чаще всего навещал меня в детдоме в довоенное время, он и

остался в памяти. Его помнили и дети детдома.

– Помнишь, Шодемке, своего брата, как он катал тебя на велосипеде? – спрашивали меня часто. Еще бы! Конечно, я помнил! Большинство детей вообще не имели родственников. Это были либо подкидыши, от которых отказались родители, либо дети, потерявшие родителей при тех или иных обстоятельствах в начале жизни.

Придя в школу, мы первым делом принимались топить печь – за ночь остыло тут все. Печь начинает понемногу теплеть, и мы жмемся к ней, как свинки – к соскам матки. Вот, наконец, печь раскалилась, теперь до нее и не дотронешься. Самое время сушить валенки. Понемногу комната нагревается, можно и шубки снять. Вот и валенки высохли, в комнате стоит кислый, едкий запах от носок, портянок, валенок и, конечно же, от шубок – время садиться за учебу. Нас рассаживают в 3 ряда: в одном – второй класс, в другом – третий, а тут – четвертый. Урок ведет учительница Ентл, молодая женщина из Литвы, со временем присоединившаяся к нам. Одним упражнением задает, других спрашивает, перебегает с места на место, из одной темы – в другую. Настоящая Любовь Орлова в роли ткачихи – многостаночницы из фильма «Светлый путь». Недостает только, чтобы она еще и запела:

«В буднях великих строек,

В веселом грохоте огня и дыма...»

Поневоле прислушиваешься, что происходит в других классах и пропускаешь свое. Тетрадей не было. Мы писали на полях старых газет. Газет тоже не хватало, и нас просили писать поплотней. Я перестарался: стал писать как на горизонтальных полях, так и на вертикальных. Однажды учительница, посмотрев на мою писанину, стала трясти мою газету, приговаривая: – Смотрите, как он пишет!

Мне вначале кажется, что она меня хвалит за находчивость, и я сижу довольный и гордый.

Но я начинаю различать выражение недовольства на ее лице: конечно, она меня ругает.

Чему мы могли научиться в этих условиях? Из всех наук Ентл мне запомнилась лишь сказка про утку, которую звали Ака Кнебекайзе. Вернее, запомнилось лишь имя утки – такое красивое и необыкновенное.

Иуда читал нам «Маугли», читал на идиш, непосредственно переводя с английского. Мы читали немного и самостоятельно. Мне попалась книга на идиш. В ней были стихи, песни, загадки. Одну историю в стихах я даже произвольно выучил наизусть. В ней рассказывалось о герое, который сражается и побеждает разных зверей. Перед каждым боем он говорил очередному зверю: «кум зе нор ду, пемпик, вер вемен, ви вер». Здесь «пемпик» должно означать унизительно-оскорбительную кличку, вроде «сморчок», «слабак». Я часто читал всем этот рассказ, пока меня не прозвали «пемпик». На идиш с артиклем это звучит «дер пемпик».

* * *

Во все времена спутниками беспризорных и обездоленных детей были песни жалобы и тоски. Такие песни проникли и к нам. Мы их заучивали друг у друга. Пели, конечно, знаменитую песню:

«Вот умру – похоронят, похоронят меня,

И никто не узнает, где могилка моя».

В ходу были песни – рассказы о бродягах, о ворах, об убийствах. В одной такой песне пелось о бродяге, который убивает старика и затем узнает в нем своего отца. Или вот другая, такая же веселая песня начинается сразу с такой интригующей строфы:

«Вот, друзья мои, расскажу я вам,

Этот случай был в прошлом году,

Как на кладбище Митрофановской

Отец дочку зарезал свою».

Затем следует рассказ, как и почему это произошло.

Более всего нам нравилось слушать Лейбушку Абрамовича. Он был старше нас, наверно лет 14, с хорошим голосом. Но, главное, он пел с душой. Мы обступаем его, просим спеть. Его взгляд становится задумчивым, мечтательным. Он устремляет его мимо нас и начинает: «Я уходил тогда в поход в суровые края, Рукой махнула у ворот моя любимая».

* * *

Лейбушке был смелым, ловким парнем. Однажды он подрался с Файвлом Млодзинским. Они оба выскочили из спальни на лестницу и размахивали ремнями с пряжками. Мы, конечно, толпились в стороне. Не упускать же такое событие! Вскоре, однако, выяснилось, что дерущиеся легко уклоняются от ударов, что это пустое сотрясение воздуха, удары пряжек приходится разве что на перила лестницы. Страсти скоро улеглись, событие исчерпало себя.

И все же выступление против Файвла считалось смелым поступком. Файвл был при матери и этим уже отличался от всех нас. Его мать стряпала на кухне и ведала хозяйством. Файвл был всегда опрятно одет, ходил в чистой рубашке, брюках, носках. Он обладал обычными для мирного времени предметами обихода, но в то время казавшимися предметами роскоши, такими, как складной ножик, карманное зеркальце, расческа, футляр для мыла. У него были даже коньки. Мы ходили смотреть, как он катается по льду Оки. Все это создавало вокруг него атмосферу исключительности. К тому же, он был замкнут, неразговорчив, а это воспринималось как заносчивость. За глаза называли его «атаман». Кличка – совершенно для него неподходящая. Это был типичный интроверт, индивидуалист без малейшего желания влиять или властвовать над другими. Драка Лейбушки с Файвлом, пусть и пустое размахивание ремнями, отчасти разрушила ореол особенности Файвла. Эта драка как бы приблизила Файвла к остальным, а Лейбушку сделала героем.

* * *

Драки были довольно популярны у нас. В основном дрались маленькие, среди больших драки возникали редко. Но надо пояснить, кто же эти «большие» и «маленькие». Так распределили нас с самого начала по 2-м спальным комнатам: комната правее – для маленьких, комната левее – для больших. В комнату для маленьких попали те, кому к началу войны было 7-8 лет, в комнату больших – те, кому к началу войны было 9-13 лет. Лейбушке и Файвлу ко времени их драки было примерно по 13 лет.

Нас, маленьких, не впускали в комнату для больших. Мне иногда удавалось проникнуть в их комнату под разными предлогами, то позвать кого-нибудь, то передать какое-нибудь сообщение. Их комната была гораздо уютнее нашей, здесь было теплее и меньше пахло мочой. Я пытаюсь задержаться тут подольше, быть незамеченным. Но обязательно кто-нибудь скажет:

– А ты что тут делаешь? А ну, выходи.

Большие иногда заходили в нашу комнату по какому-нибудь делу. Их никто не выгонял – они сами не задерживались.

Драчунов, на самом деле, было немного, но драки возникали довольно часто. Драчуны просто не могли без драк. Пришлось и мне несколько раз подраться, хотя я был робок и к дракам испытывал отвращение. Был такой худой мальчишка с двумя именами Хаим и Ейнке. Его имена всегда произносились слитно, как одно, Хаимейнке. Я говорю, что он был худой, хотя нетрудно догадаться, что среди нас вообще не было упитанных и полных. Но этот Хаимейнке был особенно худым, он был высок для своих лет и сутулился. Верхняя его губа была обычно влажная, а на остром носу мерцала капля. Большие, выпуклые глаза его смотрели одновременно жалостливо и нагло. Хаимейнке почему-то выбрал меня в качестве

ступени на пути своего самоутверждения. Ему было важно запугать меня. Он выросал передо мной внезапно и незаметно и то подставит подножку, когда я сбегал по лестнице, то подтолкнет, то оскорбит словом. Жизнь моя становилась невыносимой. Хаимейнке тяжелой тучей заслонял мне солнце. Жаловаться было не принято. Был только один путь вернуть себе свободу и солнце – победить в драке с этим мерзким Хаимейнке. Лежа в постели, я предавался мечтам. Я крошил и дубасил Хаимейнке кулаками, ногами, локтями, всеми возможными способами. Днем я робел и глотал обиды, а супостат мой все наглел. Наконец мы сцепились в драке. Первая наша драка была робкой. Выражаясь профессионально, я бы сказал, что она носила защитительный характер. Оба драчуна боялись атаковать и размахивали кулаками лишь на подступах к противнику, поражая разве что воздух. Хаимейнке, по-видимому, считал эту драку своей победой, ибо он еще больше обнаглел. Наши отношения неминуемо вели к новой драке, и она не заставила себя ждать. На этот раз я рванулся на своего врага со всей силой своей злобы. Чувство опасности отдалилось, я видел перед собой это мерзкое лицо, и мной владела лишь страсть – бить ее изо всех сил. Хаимейнке опешил от моего напора. Эта драка была полной моей победой! Таковой она была признана и детьми-наблюдателями. Хотя у меня кровоточил нос, и опухла губа, я был очень счастлив: враг был повержен. Теперь я понял: пусть только он меня еще заденет – немедленно получит отпор. Понял это и он и перестал приставать ко мне. Долго согрело меня чувство, что я отстоял свою свободу.

* * *

Был у нас и свой судья. Для разрешения споров шли к Хаиму Виленскому. У него было 2 прозвища: «дер гелер» – «рыжий» и «дер эмес» – «правда». Возникнет спор какой-нибудь, говорили: «кум цум гелер» – «пойдем к рыжему», или «кум цум эмес» – «пойдем к правде». Хаим выслушает обе стороны, задаст вопросы, вынесет вердикт. Все как в суде. С его решением соглашались. Как он заслужил такой авторитет? Позже, когда я читал священную книгу о времени судей, когда у евреев не было короля, а власть осуществлялась судьями, я вспоминал Хаима Виленского. Я даже представляю себе Самуила обязательно рыжим. Самым сильным у нас был, наверное, Израэль Карабельник. Это был широкоплечий, статный мальчик. А ведь ел то же, что и все. Ему, видно, от природы такое назначение было – быть сильным. И сила была у него доброй, рядом с ним чувствовали себя уютно. Карабельник никогда не дрался, ему не надо было доказывать свою силу.

Однажды зимой кончились у нас дрова. Доставать новые обычным путем, через местные власти – займет много времени. И наш директор решил, по-видимому, что если мы спилим в лесу одно дерево, то это останется незамеченным. Раздобыли пилу, топор, снарядили отряд «лесорубов» во главе с Израэлем Карабельником и отправились в лес. Был морозный, солнечный день. Снег сверкал на солнце и скрипел под ногами. Возбужденные и взволнованные, мы «шли на дело» с нетерпением борзых собак, выпущенных на охоту. Никто никогда не держал пилу в руках, но предчувствие приключения, сладкий привкус «запретного плода» и высокая, благородная цель добыть тепло – все это будоражило и волновало.

Выбрали статную сосну на опушке. Сообразили, что тут ей удобнее будет рухнуть наземь – не помешают другие деревья. Довольно скоро выяснилось, что дело это вовсе нелегкое. Пилу никак не удавалось удерживать ровно, перпендикулярно к дереву. По мере погружения ее в дерево она сгибалась в неровностях нарезки, застревала. Приходилось все время начинать сначала. Энтузиазм ослабевал. Нам, малышам, тут вообще делать было нечего. Наша задача была носить разрубленные дрова домой. А когда они еще будут? Не замерзать же тут! И мы вернулись домой.

Нашим лесорубам под руководством Карабельника удалось все же к концу дня спилить дерево. Назавтра работа закипела с новой силой и новой страстью. Работа эта объединила нас, а наши старшие ребята получили некоторые навыки лесорубов. Расплачивался, конечно,

наш директор. Ему пришлось держать ответ за самоуправство. Он ссылаясь на безвыходность положения: дети могли заболеть. Дело замяли. Вскоре, однако, прислали комиссию, которая должна была проверить, как ведется учет израсходованных продуктов. Оказалось, что книг учета вообще не имеется. Да он и не знал о таких книгах. Этого директору простить не могли. Его сняли с работы. В 1943 году Иуда Месье оставил наш детский дом и поехал в Горький на курсы по экономике. От службы в армии он был освобожден из-за сильной близорукости. Его поистине отцовская забота о нас не могла быть ни оценена, ни даже понята: уж очень она была неказенной и нестандартной. Нашим новым директором назначили женщину. Это, пожалуй, единственное ее качество, что осталось в памяти.

Вернемся, однако, накоротко к Карабельнику. Его сила получила у нас еще одно важное применение. Праздники 1 мая и 7 ноября отмечались у нас так называемым небольшим концертом: кто-то читал стихотворение, кто-то пел песню. Непременным номером была пирамида. Основанием пирамиды был Карабельник. На его раздвинутых ногах с обеих сторон становились пятками 2 малыша, держась каждый рукой за руку Карабельника и наклоняясь туловищем вбок. На шею Карабельника надсаживался еще один малыш, который выкрикивал подходящее к празднику призывы ЦК Партии. Со стены удовлетворенно смотрели члены политбюро.

* * *

Черный рупор на нашей стене все чаще извещал о победах Красной Армии, об освобождении городов. Эти события отмечались в стране орудийными залпами. Отмечали и мы. Мы зажигали костры и бросали в них холостые патроны. Раздавался взрыв, и высоко разлетались искры. Мы все жили теперь предчувствием конца войны: вот-вот это кончится все, и мы уедем. И этот осенний день 44 года, наконец, наступил! Еще шла война, но уже за пределами Советского Союза. Нас рассадили по кузовам грузовых полуприцепов. Откуда-то привезли и роздали конфеты – подушечки, начиненные мармеладом, первое лакомство за годы войны. Машины тронулись к Выксе, к вокзалу. Шиморскяне машут нам рукой. Может быть, в последний раз перед нами мелькает село Шиморское? Мы возвращаемся все, все пережили эти лихие годы войны. Лишь Гарон погиб на фронте».

И еще одно повествование по интересующей нас теме. На сей раз источником служат воспоминания Рувима Блюма, опубликованные в 2011 году на ForumDaily.com, сайте русскоязычной Америки под заголовком «Человек, которому мы обязаны жизнью. Еврейский детский дом в Каунасе». Перед нами вновь возникает Иуда Месье, старый двухэтажный дом в Шиморском и знакомые имена мальчиков-воспитанников.

«Теперь я хочу рассказать о судьбе оставшихся детей из Каунасского детдома и воспитателя Зундла.

Когда судьба нас разлучила в Каунасе в первый день войны, и наша группа оказалась в поезде, идущем на восток, мы потеряли всякую связь с остальными детдомовцами и воспитателями. Впоследствии, когда нас через полтора года привезли в село Шиморск, где находился наш еврейский детдом, эвакуированный из Каунаса, нам рассказали об их жизни за это время.

А случилось вот что. В то время, когда наш поезд отъехал из Каунаса, воспитатель Зундл сумел с трудом собрать оставшихся детей из детдома. Случайно к нему подошел мужчина и представился, что его зовут Иуда. Впоследствии именно Иуда Месье и стал директором детского дома.

Зундл и Иуда договорились, что будут действовать совместно, чтобы спасти детей. Спустя некоторое время им кто-то сказал, что в нескольких километрах от того места, где мы расстались, находится железнодорожная станция. Они построили всех детей и объяснили,

что оставаться на этом месте очень опасно, так как оно находится в открытом поле и здесь можно попасть под обстрел. При этом они предупредили, чтобы все стали поплотнее и строем пошли в направлении железной дороги. По счастливым обстоятельствам, с помощью старших ребят младшие сели на поезд и под постоянными бомбежками добрались до Шиморска. Им отдали старый двухэтажный дом, который стоял отдельно от других. С помощью старших ребят и местных жителей это здание переоборудовали под детский дом. Только благодаря воспитателю Зундлу, который предельно сконцентрировался, принимал правильные организационные решения и энергично действовал, наша группа и остальные дети из Каунасского детского дома остались живы.

Теперь немного о том, что случилось с воспитателем Зундлом. Это краткая, но поучительная история. Мы чуть не лишились своего любимого воспитателя Зундла, которому мы практически обязаны жизнью. Как это произошло?

Дело было в Шиморске. В один из дней воспитатель и учитель Зундл находился с группой младших детей. Дети баловались, шумели, и один из мальчиков, по имени Тедик, категорически отказывался успокоиться и выполнить приказание Зундла. За все мое пребывание в детском доме и в Каунасе, и в Шиморске ни я, ни все остальные дети и воспитатели никогда не видели и не слышали, чтобы Зундл поднял руку на кого-нибудь из детей, несмотря на то, что мы не всегда вели себя адекватно. Но сейчас Тедик до того распоясался и стал грубить и издеваться над воспитателем и учителем, что Зундл не сдержался. Он схватил Тедика и применил к нему обычное детдомовское наказание — снял штаны и отшлепал по заднице. Тед начал плакать и громко кричать. Об этом случае узнала повариха, несколько нянечек-литовок и пионервожатая Зося. Они написали жалобу в районо о том, что Зундл постоянно (хотя это произошло впервые) избивает детей, и что он придерживается старых взглядов на воспитание, а также указали, что он якобы является одним из организаторов каунасского клуба «Шомер Ациор». После этого Зундла сняли с работы и отправили в Горький. Его мобилизовали в 16-ю литовскую дивизию, состоящую из беженцев из Литвы, большинство из которых были евреи. В одном из боев его ранило, и ему ампутировали кисть руки».

Вот такой предстает в воспоминаниях небольшая, но яркая страница истории речного поселка, приютившего прибалтийских ребятишек. После войны детский дом был возвращен в Каунас, холодные зимы российской глубинки, «Иван Иваныч» и малокровие постепенно становились зыбкими, почти нереальными образами. Но навсегда не стерлись, иначе не писали бы уже взрослые, состоявшиеся люди с таким теплом про Иуду Месье, воспитателя Зундла и шиморских пацанов, задиристых и отчаянных.